



Стихи — одна из форм существования поэзии. Наверное, архитектурно самая совершенная. Как раковина хранит шум моря, так стихи, если в них живут «творящий дух и жизни случай», хранят музыку мира. Без нее мир «безмолвен», как некогда писал Борис Асафьев.

В стихе кристаллизованы все возможности языка. Язык и выражает, и хранит, и таит. Лишь стихи способны в «нераздельности и неслиянности» объять содержательно-понятийное, интонационно-звуковое, музыкально-ритмическое, живописно-пластическое и множество других языковых начал. Только молитва и стих (песня!) способны разомкнуть внутреннюю форму слова, освободить множество смыслов, позволить прикоснуться к прапамяти и внять пророчествам. Верно, люди чаще всего внимают иллюзиям и обманам. Они, да простит Пушкин, «обманываться рады».

Стихи далеко не всегда проговариваются поэзией. В замысле и исполнении устройство их должно совпасть, пусть и не полностью, с «многосоставностью», по слову Анненского, личности художника (как правило, человека не столь жизни, сколь судьбы) и текучей многосмысленностью поэтического слова. С тем, что — до слова, в — слове, за — словом и после слова.

У Цветаевой об этом просто: «Равенство дара души и глагола — вот поэт». Таким поэтом она и пребывает в бескрайности русского мира, в нашем национальном мифе, в бесконечном «часе мировых сиротств». Несчастливая и торжествующая, любимая и порицаемая, и всегда родная.

Марина Цветаева прожила почти 50 лет. Но каких лет! Как прожила! Обо всем этом нынче хорошо известно. Вот уж к кому в XX веке применимо пушкинское — «и от судеб защиты нет». А обстоятельства личной жизни! А каждодневное палачество быта, с первых лет революции и до смертного часа! И при всем том непостижимая творческая мощь, «ослепительная расточительность» и «огненная несговорчивость» (выражения Георгия Адамовича по другим поводам, но чрезвычайно точные применительно к Цветаевой).

Количественные характеристики, как правило, отношения к искусству не имеют. Но размах иной художественной стихии измеряется и подобным образом. Анна Саакянц, замечательный исследователь и биограф поэта, в одной из своих работ привела такую «статистику»: «Марина Цветаева написала:

более 800 лирических стихотворений,
17 поэм,
8 пьес,
около 50 произведений в прозе,
свыше 1000 писем.

Речь идет лишь о выявленном; многое (особенно письма) обнаруживается до сих пор. Не говоря уже о ее закрытом архиве в Москве...»

Таковы труды и дни «слабой» женщины. Даже в неудавшихся вещах, а их у поэта не так мало, виб-

рируют чудодейственная артистичность и атлетическая изобразительность. Если же «слова и смыслы», интонация и вещей ритм; синтаксис взрыва, лавины, каменоломни — родственно и живо согласуются, то миру явлена поэзия высшего порядка.

ПРОКРАСТЬСЯ...

А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем —
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени

На стенах...

 Может быть — отказом
Взять? Вычеркнуться из зеркал?
Так: Лермонтовым по Кавказу
Прокрасться, не встревожив скал.

А может — лучшая потеха
Перстом Себастиана Баха
Органного не тронуть эха?
Распасться, не оставив праха

На урну...

 Может быть — обманом
Взять? Выписаться из широт?
Так: Временем как океаном
Прокрасться, не встревожив вод...

Вот он — «Голос правды небесной против правды земной».

Цветаева жила не во времени — «Время! Я тебя миную». Она жила во временах. Ее стих несет в себе напряженную звучность, пронзительный и пронзающий лёт стрелы, пущенной воином Тамерлана через века в вечность.

Променивши на стремя —
Поминайте коня ворона!
Невозвратна как время,
Но возвратна как вы, времена

Года, с первым из встречных
Предающая дело родни,
Равнодушна как вечность,
Но пристрастна как первые дни...

Это не славолюбивые хлопоты о будущем и не надежды на посмертное признание, не своеволие одержимого художника.

Философ, историк-публицист Георгий Федотов в статье «О Парижской поэзии», которая была напечатана в Нью-Йорке в 1942 году (автор не знал о смерти Цветаевой), писал о поэте: «Для нее парижское изгнание было случайностью. Для большинства молодых поэтов она осталась чужой, как и они для нее. Странно и горестно было видеть это духовное одиночество большого поэта, хотя и понимаешь, что это не могло быть иначе. Марина Цветаева была не парижской, а московской школы. Ее место там, между Маяковским и Пастернаком. Созвучная революции, как стихийной грозе, она не могла примириться с коммунистическим рабством». С последующим утверждением Федотова — «На чужбине она нашла нищету, пустоту, одиночество» — согласиться трудно. Вернее, с абсолютностью этого утверждения. Тогда откуда же при столь мертвящей скудости, в жизненной и житейской пустыне вулканическое извержение творчества, вдохновенное и неукротимое? Для этого нужны небывалые источ-

ники. В пустыне их нет. У Цветаевой, несмотря ни на что, они были. О чем-то мы знаем, о чем-то догадываемся.

Сознавая, что «ясновидение и печаль» есть тайный опыт поэта, опыт неделимый и сокровенный, можно с большой долей вероятности предполагать, что животворящий источник ее поэзии — Россия, родина, — во всей полноте временных и пространственных измерений, красочно-пластических, звуковых, слуховых и многих других начал, «того безмерно сложного и таинственного, что содержит в себе географическое название страны», как некогда сказал Адамович. О том, *как* присутствует Россия во всем, что писала и чем жила Цветаева, говорить излишне и неуместно, ибо — очевидно. Конечно же, это — блоковская «любовь-ненависть». Поэтому для нее и царская Россия (страна матери, детства, юности, любви, семьи, поэзии, счастья); и «белая» Русь (подвиг, жертвы, героика, изгнание); и СССР, где обитают «просветители пещер», где после возвращения «в на-Марс — страну! в безнас — страну!», «и снег не бел, и хлеб не мил», — одна вечная родина. Сложно множится и ее отношение к революции, большевикам, белому движению.

13 марта 1921 года. «Красная» Москва. Через год Цветаева покинет ее. Пора витийственного «ван-действия», песнословий «Дону», Добровольческой армии, и —

Как закон голубиный вымарывая, —
Руку судорогой не свело, —
А случилось: заморское марево
Русским заревом здесь расцвело.

.....
Эх вы правая с левой две варежки!
Та же шерсть вас вязала в клубок!
Дерзновенное слово: товарищи
Сменит прежняя быль: голубок.
Побратавшись да левая с правою,
Встанет — всем Тамерланам на грусть!
В струпьях, в язвах, в проказе — оправдана,
Ибо есть и останется — Русь.

О вопиющих противоречиях Цветаевой, о немислимых крайностях написано и сказано много. Энергия и сила, дарованные ей в избытке, несли в себе и неизбежную разрушительность. Словесная буря и ураган ритма порой приводили поэта к своеобразному «хлыстовству» и «шаманству». Кажется, что ее «переполненности» было тесно в литературе и жизни. По-другому и быть с ней не могло. Но на всех путях и перепутьях, в бурне самосожжения Цветаеву хранил «спасительный яд творческих противоречий», эта родовая купель художника, по Александру Блоку.

Всякий значительный поэт у одних вызывает восхищение и признательность, у других — отторжение и неприятие. Не в счет капризно-раздраженные сентенции «нарциссов чернильницы». В связи с этим очень важны суждения ее многолетних, в эмигрантскую пору, оппонентов-соперников, недругов-петербуржцев. Язвительной пристальностью и «стильной» солью оценок они донимали Цветаеву. Один из них — поэт и критик Георгий Адамович, другой — гениальный лирик нашего столетия Георгий Ива́нов.

Адамович и Цветаева — это долгая литературная война, с бездной взаимных претензий и выпадов; война не мелочная, вызванная глубинной чуждостью замечательных людей.

«Первый критик эмиграции», так заслуженно именовали Адамовича, был последователен и беспощаден, всегда и всюду, ко всему, что считал у Цветаевой слабым, недолжным, кокетливо-истерическим. Из его сокрушительных «мнений» можно составить небольшую антологию. Цветаева, кстати, отвечала тем же. Но вот в рецензии на сборник «После России» в июне 1928 года Адамович, изложив обычные для него и читателей соображения об «архивчерашней поэзии Цветаевой», где «стих спотыкается на каждом шагу», а «музыка исчезла», неожиданно произносит: «...Марина Цветаева истинный и даже редкий поэт... есть в каждом ее стихотворении единое цельное ощущение мира, т.е. врожденное сознание, что всё в мире — политика, любовь, религия, поэзия, история, решительно всё — составляет один клубок, на отдельные источники не разложимый. Касаясь одной какой-нибудь темы, Цветаева всегда касается всей жизни». Здесь Адамович ясно и просто назвал самое существенное у Цветаевой, «строительное» начало ее поэзии и личности — **«всегда касается всей жизни»**.

Даровитый, умный, духовно-щедрый литературный враг оказался пронизательнее многих «близких». Не случайно, что последняя запись в рабочей тетради Цветаевой, в июне 1939, накануне отъезда в Россию, — стихотворение Адамовича «Был дом, как пещера. О, дай же мне вспомнить...», с припис-

кой М.И.: «Чужие стихи, но к-рые местами могли быть моими». Наверное, такими вот «местами»:

Был дом, как пещера. И слабые, зимние
Зеленые звезды. И снег, и покой...
Конец. Навсегда. Обрывается линия.
Поэзия, жизнь! Я прощаюсь с тобой.

Адамович прожил долгую жизнь. Он умер во Франции восьмидесятилетним патриархом. В 1972 году. Незадолго до смерти он напечатал одно из последних своих стихотворений. Называется оно «Памяти М. Ц.». Таинственная вещь:

Поговорить бы хоть теперь, Марина!
При жизни не пришлось. Теперь вас нет.
Но слышится мне голос лебединый,
Как вестник торжества и вестник бед.
.....

Не я виной. Как много в мире боли.
Но ведь и вас я не виню ни в чем.
Все — по случайности, все — по неволе.
Как чудно жить. Как плохо мы живем.

Не лучшие стихи Адамовича, простенькие стихи. Но все искупает ровный и мягкий свет прощания и прощения.

Тяжкими были последние годы некогда баловня судьбы Георгия Иванова. А стихи писал он тогда «небесные». Несколько строк из письма Роману Гулю, из Франции в Америку (пятидесятые годы): «Насчет Цветаевой... Я не только литературно — заранее прощаю все ее выверты — люблю ее всю, но еще и «общественно» она очень мила. Терпеть не могу ничего твердокаменного и принципиального

по отношению к России. Ну, и «ошибалась». Ну, и болталась то к красным, то к белым. И получала плевки от тех, и от других. «А судьи кто?» И камни, брошенные в нее, по-моему, возвращаются автоматически, как бумеранг, во лбы тупиц — и сволочей, — которые ее осуждали. И, если когда-нибудь возможен для русских людей «гражданский мир», взаимное «пожатие руки» — нравится это кому или не нравится — пойдет это, мне кажется, приблизительно по цветаевской линии». Странное, поразительное и пронизательное признание. Его стоило привести хотя бы потому, что во многих писаниях о Цветаевой, в угоду безбрежной апологии поэта замалчивается или искажается неизбежная сложность (рядом с достоинствами провалы, срывы и тупики; с прозрениями — слепота; рядом с мощью и силой — слабость) его искусства и жизни. Как большой художник, как «душа, не знающая меры», она всё это несла в себе. Такими, всяк на свой лад, были ее «братья по песенной беде» — Маяковский, Есенин, Пастернак.

В эмиграции ей, как и многим русским изгнанникам, открылась убийственная недолжность миропорядка вообще. Европа, где «последняя труба крайны о праведности вопиет», «после России» обернулась не меньшим адом. Антибуржуазность в крови у русских художников. Цветаева не исключение. В этом она наследница наших гигантов XIX века и Александра Блока (святое для нее имя). Потому именно ей принадлежит высокая и гневная скрижаль — стихотворение «Хвала богатым». Смешны и нелепы

объяснения того, что в нем выражено, цветаевским «наперекор всем и всему», неустроенностью, неотступностью бед, нищетой, скитальчеством. Если предположить невозможное — ее благополучие на чужбине — она бы осталась Цветаевой в каждом слове, каждом поступке, каждом шаге и каждом вздохе.

Всюду у Цветаевой звучит отказ от мелочного торгашества времени, тюремно-казарменных «эпох», чертовщины урбанизма («Ребенок растет на асфальте и будет жестоким как он»). С годами все сильнее мучает искушение «Творцу вернуть билет» —

Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей

Отказываюсь — выть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть —
Вниз — по теченью спин.

Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещей глаз.
На твой безумный мир
Ответ один — отказ.

На заре торжества и всевластия «печатной сивухи», по слову так ценимого ею Василия Розанова, она с твердой правотой и брезгливостью отвергла в стихотворении «Читатели газет» развоплощенные человеком перед «информационным зеркалом», нарастающим до наших дней планетарным бедствием:

Газет — читай: клевет,
Газет — читай: растрат.
Что ни столбец — навет,
Что ни абзац — отврат...

О, с чем на Страшный суд
Предстанете: на свет!
Хвататели минут,
Читатели газет!

.....

Кто наших сыновей
Гноит во цвете лет?
Смесители кровей
Писатели газет!

В поэзии Цветаевой присутствуют с замечательной живостью драгоценные свойства русской литературы, ее родовые черты: трагическое переплетенье «родного и вселенского», всеотзывчивость, сострадание и сорадование миру и человеку, лихое веселье и беспросветная тоска. По-пушкински, по-лицейски она воспела дружбу, братство, товарищество. Ее русскость сказалась во многом. Как, впрочем, и европейскость. А как у нее звучит такое **наше** — дорога, дорожное, станции, вокзалы, рельсы, встречи, расставанья — «провожаю дорогу железную»!

Первые книги Цветаевой появились в начале 10-х годов. Ее искусство развивалось с невероятной интенсивностью и на родине, и в эмиграции. Очаровательная домашность первых стихов, их искренность держались на сильной изобразительной воле, сдерживающей патетику духовно-душевного максима-

лизма и воинствующего романтизма. Поэтический мир Цветаевой всегда оставался монологическим, но сложнейшим образом оркестрованным вопросительными заклинаниями, плачем и пением. При устойчивой, обуздывающей традиционности, ее поэзия восприимчива к авангардным способам лирического выражения (Белый, Хлебников, Маяковский, Пастернак).

Духовно и эстетически близкий Цветаевой выдающийся историк литературы и критик Дмитрий Святополк-Мирский, человек странно-страшной судьбы, указал на важную особенность словесного дара поэта: «...с точки зрения чисто языковой Цветаева очень русская, почти что такая же русская, как Розанов или Ремизов, но эта особо прочная связь ее с русским языком объясняется не тем, что он русский, а тем, что он язык: дарование ее напряженно словесное, лингвистическое, и пиши она, скажем, по-немецки, ее стихи были бы такими же насыщено-немецкими, как настоящие ее стихи насыщено-русские».

О словесно-образной манере Цветаевой, ее стиховом симфонизме превосходно, с отчетливой краткостью писал Владислав Ходасевич в 1925 году в рецензии на поэму «Молодец». В частном (сказочное, народно-песенное и литературно-книжное) он провидчески «схватил» общее: «Некоторая «заумность» лежит в природе поэзии. Слово и звук в поэзии не рабы смысла, а равноправные граждане. Беда, если одно господствует над другим. Самодержавие «идеи» приводит к плохим стихам. Вздунто-